

Человек и место

Юзеф
Чапски

К 100-летию со дня
рождения.



Человек и место

Юзеф Чапски
К 100-летию со дня
рождения

Национальный музей в Кракове

Выставка в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург)
12 ноября - 15 декабря 1996

Человек и место. Юзеф Чапски. К 100-летию со дня рождения.

Выставка подготовлена Национальным музеем в Кракове в сотрудничестве с: Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург), Генеральным консульством Республики Польша в Санкт Петербурге, Санкт-Петербургским научно-информационным центром „Мемориал”, а также при участии Центра „Карта” (Варшава).

Автор проекта и сценарист: Кристина Захватович-Вайда.
Комиссар выставки: Томаш Зауха.
Реконструкция комнаты Юзефа Чапского: техническое оформлнение Национального музея в Кракове при участии столярных мастерских театра „Балтийский дом” (Санкт-Петербург).

Каталог:
Редактор научных изданий Национального музея в Кракове: Зофия Голубев.
Выбор текстов и иллюстраций: Крыстына Захватович-Вайда.
Редактор: Томаш Зауха.
Перевод Святослава Свяцкого, Анатолия Нехая и Татьяны Косиновой.
Редактор русского перевода: Изабелла Ярославска.
Компьютерный набор и корректура Татьяны Косиновой.
Графическое оформление: Ришард Отремба
Техническое оформление: Алексы Павльчук - КА 2.

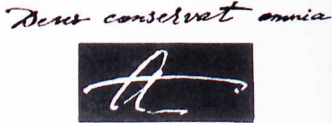
Фотографии из собраний:
Януша Пшевлоцкого,
а также:
Кристины и Анджея Вайды,
Станислава Родзиньского,
Эльжбеты Лубеньской,
Петра Клочовского,
и Национального музея в Кракове.

Авторы фотографий:
Анна Бохдзевич,
Анджей Хенч,
Тадеуш Шкльярчык,
Богдан Пачковский,
Конрад Поллеш,
Николай Пунин,
Станислав Родзинский,
Х. Высоцкий,
Кристина Захватович,
а также неизвестные авторы.

Выставка и издание каталога подготовлены благодаря финансовой помощи: Министерства Культуры и Искусства Республики Польша, Фонда имени Стефана Баторого в Варшаве, Санкт-Петербургского представительства Фонда „Культурная инициатива” Института „Открытое общество”, Фонда Культуры в Варшаве, LOT - Польских авиалиний, Санкт-Петербургского отделения Банка РеКаО S.A. Польских мастерских по реставрации памятников старины, Бюро международной торговли, Санкт-Петербургское представительство

Печать каталога: Zakład Poligraficzny Włodzimierza Skleniarza, Kraków, ul. Juliusza Lea 118.

ISBN 83-906334-3-4



МУЗЕЙ
АННЫ АХМАТОВОЙ
В ФОНТАННОМ ДОМЕ



Научно-информационный центр
„Мемориал”
Санкт-Петербург



Содержание

Тадеуш Хрустицкий	6
Нина Попова	7
Михаил Геллер	Юзеф Чапски (1896-1993) 9
Адам Загаевски	Усердие и озарение 10
Юзеф Чапски	Национальность или исключительность? 15
Юзеф Чапски	Как жить? 18
Юзеф Чапски	Об Анне Ахматовой 20
Юзеф Чапски	Об Алексее Ремизове 26
Юзеф Чапски	Извозчик и лошадь 27
Иоанна Поллак, Петр Клочовски	Календарь дат жизни Юзефа Чапского 29

Мы сотрудники Национального музея в Кракове, очень дорожим привелегией хранения дневников и памятных вещей выдающегося гуманиста и художника Юзефа Чапского, которые были переданы нам согласно воле сестры живописца, умершего в 1993 году в Maissons-Laffitte под Парижем на 97 году жизни. Они нашли свое место в городском дворце, построенном в конце XIX века для деда Юзефа, Эмерика Гуттен-Чапского, ученого, известного коллекционера монет, редких изданий и автографов. С 1902 года особняк и коллекции являются частью Национального музея и до сегодняшнего дня находятся под опекой семьи Чапских, имеющей большие заслуги в области науки и культуры на протяжении многих поколений.

Наступившее в 1996 году 100-летие со дня рождения Юзефа Чапского, художника, писателя, публициста, горячего патриота и солдата, мы отмечаем биографической выставкой и сопровождающими ее изданиями. Они оживят память о необыкновенном, утонченном интеллектуале и творце, чья долгая, активная жизнь охватила чуть ли все наше столетие, принесшее ему столько тяжких испытаний, с которыми он достойно справился, а также немало особых радостей, строящихся из обширных контактов и дружбы со знаменитыми, талантливейшими людьми в Европе. Наглядным подтверждением этого станет для внимательного читателя обширная хроника жизни художника, помещенная в этом каталоге.

У нас в Польше немного картин кисти Юзефа Чапского. Большая часть его произведений, созданных после II Мировой войны в эмиграции, осталась в Швейцарии и во Франции у коллекционеров и поклонников его творчества. Инные разшлись по всему свету. Однако, его творчество в Польше известно по репродукциям различных издательств, его картины демонстрировались тут, благодаря любезности их владельцев. В то же время Юзеф Чапски повсеместно почитаем на Родине за свою патриотическую деятельность, обширно описанную, за свои книги и статьи, посвященные размышлениям о людях, о творцах, об искусстве и живописи.

Подготовке выставки, посвященной Юзефу Чапскому в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, способствовало бескорыстное участие многочисленных друзей художника, а также помощь различных учреждений и фондов, которых мы сердечно благодарим за содействие. Хочу выразить надежду, что эта выставка будет принята с интересом в городе, которому Юзеф Чапский столь многим обязан в пору своей юности и годов ученичества.

Тадеуш Хрустицкий
директор Национального музея в Кракове

Идея проведения выставки Юзефа Чапского в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме не только дань памяти о встрече Ахматовой и Чапского в 1942 году в Ташкенте. Хотя и эта встреча могла бы быть высвечена крупным планом.

Летом 1942 года Чапский, состоявший при армии генерала Андерса, оказался в Ташкенте для переговоров с эвакуированными писателями об издании сборника стихов польских поэтов о войне. В доме у А. Н. Толстого, где происходила встреча, было несколько поэтов, Н. Тихонов, например. Но слушали только Чапского, который читал переводы стихов о поверженной Варшаве. Потом читала стихи Ахматова - о своем Городе, голодном и разрушенном войной. И общим было ощущение потери дома, языка, культуры.

Когда кончилась война, для них не закончились испытания.

Ахматову, ставшую национальным народным поэтом (это с особенной силой показала Вторая война) ожидало Постановление 46 года, на десятилетие исключившее ее из гражданской жизни. Чапского - эмиграция, ибо для него, человека европейской культуры, воспитанного на философии Л. Н. Толстого, Ницше, Достоевского, Розанова, осмыслившего опыт революции в России, не было места в послевоенной советизированной Польше. То были пути поколения, которому Ахматова посвятила стихи:

De profundis... Мое поколение
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдалении,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть...
Две войны, мое поколение,
Освещали твой страшный путь.

Может быть, потому и Ахматовой и Чапскому дана была такая долгая жизнь, чтобы не только прожить XX век, но и осмыслить прожитое, выразить в слове, образе, цвете, линии. Ее стихи, его картины, его воспоминания, ее проза - это и есть поэтический, интеллектуальный, человеческий итог раздумий об опыте XX столетия...

"*Deus conservat omnia*" - "Бог хранит все". Эта надпись - девиз герба Шереметевых - украшает ворота Фонтанного Дома. Пусть под этим девизом пройдет выставка Юзефа Чапского в доме Анны Ахматовой в Петербурге.

Нина Попова
директор музея А.А. Ахматовой
в Санкт-Петербурге



Юзеф Чапски. Maisons-Laffitte, октябрь 1984.

Юзеф Чапски (1896-1993)

Юзеф Чапски - один из самых замечательных людей нашего века, видевший и испытывавший все чем XX век вписал себя в историю: революции, войны, тюрьмы, лагерь. Потомок старинной дворянской семьи граф Чапский мог стать русским, немцем, австрийцем, чехом, поляком: во всех этих странах у него были подставники. Он родился в Праге, детство провел в Минской губернии, в 1916 г. приехал в Петербург, где поступил в пажецкий корпус. Мятущийся юноша увлекавшийся толстовством, приходит в поисках ответа на главные вопросы в Мережковским. Через несколько лет он встретит Дмитрия Мережковского и Зинаиду Гиппиус в Варшаве, где они останавливаются по дороге в Париж, и завяжет тесную дружбу с Дмитрием Философовым, который обосновывается в столице Польши.

Революция в России закрывает пажецкий корпус. Юзеф Чапский объявляет себя поляком и впервые встречается с советской властью. По просьбе товарищей он отправляется на поиски польских офицеров, затерявшихся в революционной России. После трудного путешествия он находит только информацию: все офицеры были убиты. В 1920 г. Юзеф Чапский, офицер уланского полка, воюет с „большевистским нашествием” и награждается крестом „За военную доблесть”.

Кончились войны и Чапски посвящает себя живописи. Он - известный художник, его картины выставляются в Париже, Варшаве, Женеве. Но неумолимый век напоминает о себе: в сентябре 1939 г. Гитлер нападает на Польшу, Юзеф Чапский одевает военный мундир. И попадает в плен к союзнику Гитлера - Красной армии. Вместе с другими польскими офицерами его заключают в лагерь. Два года - без месяца провел он в лагерях: Старобельске, Павлицевом бору, Грязовце. Он так никогда не узнал, почему его неожиданно перевезли из Старобельска: все его товарищи по этому лагерю были убиты в Катынском лесу. Юзеф Чапский ничего не знал о судьбе польских офицеров, когда был освобожден по случаю советско-германской войны. Сталин решил организовать польский корпус и выпускал на свободу оставшихся в живых военнопленных. Юзеф Чапский одел мундир и получил от генерала Андерса поручение: найти узников Старобельска и других лагерей. Чапский второй раз отправился в путешествие по России.

После войны, в Париже, он напишет книгу о своих бесплодных поисках. Она будет озаглавлена: *На нечеловеческой земле*. С XVI в. иностранные путешественники пишут записки о России. В них нередко много того, чего не видели русские. Книгу Юзефа Чапского нельзя поставить в ряд иностранных свидетельств. Она написана с искренней любовью к стране и людям, близким автору, несмотря на то, что и страна и люди находятся в неволе. Пребывание посланника генерала Андерса в Ташкенте (неподалеку формировался польский корпус, готовившийся уйти в Иран) нашло неожиданный отклик: Анна Ахматова написала (в двух вариантах) стихотворение о встрече с Чапским. Стихотворение начинается словами:

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума
Светила нам только зловещая тьма
Свое бормотали арыки
И Азией пахли гвоздики.

Это была встреча людей одной культуры, одних привычек, разделенных режимом.

В предисловии к *Нечеловеческой земле* Юзеф Чапский сказал о своем отношении к России: „Моя книга, заглавие которой русские могут воспринять, как жестокое, свидетельствует прежде всего о моей привязанности к России. Я отдаю себе отчет в том, что этот взгляд сегодня чужд большинству поляков. Но я слишком хорошо знал русских высочайших моральных качеств, я слишком многосердечных чувств дали мне русские... Я встречал там подлинных братьев, о которых даже не смел писать в моей книге, чтобы им не повредить. Я верю, что искренние и братские отношения между Польшей и Россией не только возможны, но в будущем необходимы... Несмотря на наше „трагическое противостояние” мы необыкновенно близки друг другу”.

После войны - Юзеф Чапский один из основателей „Культуры” эмигрантского журнала, сыгравшего не до конца еще оцененную роль в истории Польши. Он активный участник борьбы с коммунизмом, нагло торжествующим на Западе, видящем в Сталине спасителя человечества. Но прежде всего он - художник, известность к которому будет, не переставая, расти.

Необыкновенно трудно писать об умершем близком человеке. Я познакомился с Юзефом Чапским вскоре после приезда в Париж. Мы много говорили, обмени-

Усердие и озарение *

вались письмами, я ходил на его выставки и смотрел картины, которые он хранил у себя дома. Юзеф Чапски обладал множеством талантов, он был благожелательным, всем интересующимся, щедрым человеком. Несколько лет назад он начал слепнуть и продолжал рисовать, как бы по памяти, проявляя поразительное мужество, перед лицом надвигающейся тьмы и приближающейся смерти. Юзеф Чапский всегда казался мне человеком из прошлого - из блистательного XIX в. и человеком будущего, не знаю какого века. Мы много говорили о его любимом поэте - Циприане Норвиде. В одном из писем Норвид, великий поэт, величие которого долго не хотели признавать его земляки, объясняет непризнание тем, что - как он выражается - „я всегда был сначала человек, а потом поляк“.

Юзеф Чапский был - человеком, был идеальным европейцем. Прежде всего, как мне кажется, потому что он был поляком, воспитанным на русской культуре, сочетавшим в себе все то лучшее, что есть в поляках и русских.

[...] Когда я с ним познакомился - в 1983 году, в первое время моего пребывания в Париже, - Чапскому исполнилось 87 лет. Тогда он, кажется, уже не ездил на своем знаменитом мотороллере и редко выбирался в Париж. Однако, несмотря на эти, связанные с возрастом обстоятельства, он остался человеком, в сущности, молодым, увлеченным живописью, чтением книг, беседами с друзьями. [...]

Чапски отбросил старость так же, как некогда отбросил свою принадлежность к аристократии. От старости он был в той же степени независим и свободен, как, например, от всего польского. Такая аналогия возможна: ведь Чапски действительно был потомственным аристократом, однако от аристократии он позаимствовал лишь учтивость, при этом к польскости был непреклонно критичен, и к старости относился с юмором (хотя из опубликованных фрагментов дневника мы знаем, что ему были свойственны, как, впрочем, и всем людям, порожденные старостью страхи).

Но в некоторых случаях, однако, аналогии обманчивы. Ни аристократизм, ни польская сущность не взяли своего позднего реванша у Чапского; старость, более могущественная, более опытная и искушенная, проявилась за четыре года до смерти Юзя. Тогда начался медленный процесс распада, немыслимая слабость, угасание духа, исчезновение памяти. [...]

Но даже последние годы не превратились в сплошную пустыню: навещавшие Чапского друзья читали ему - он тогда уже почти утратил зрение - его собственные эссе, написанные давно. Сначала Юзю просил почитать ему тексты других авторов, но под конец желал слушать только свои собственные. Это не было старческим самолюбованием, это была отчаянная борьба за сохранение гаснущей памяти. Не раз бывало, когда я приходил, Юзя

полулежал в кресле с отсутствующим видом, утомленный, апатичный - порой даже закрывал голову одеялом, словно обособлялся от мира, - старец, да и только; но когда я начинал читать его очерк, предположим, о Розанове, он оживлялся, воскресал, внезапно все помнил (нет, не все, а то, что касалось Розанова), подсказывал мне концы некоторых фраз. Очевидно, особенно хорошо он помнил цитаты, которые остались в его сердце. [...]

Впервые в жизни я был свидетелем терапевтического действия литературы - на автора. [...] Здесь, в мастерской Чапского, где все еще красовался бесполезный уже мольберт великого художника, мысль, выраженная в наброске, в книге, в цитате любимого писателя, внезапно действовала, как магический укол, возвращая молодость, пусть даже на полчаса. Не надо говорить, насколько это было трогательно, и какое значение придавало всему процессу чтения вслух.

Но еще до того, как началось угасание, Чапски жил, насколько помню, все же еще интенсивно, работал, читал, писал, следил за текущими событиями. Следил за ними двумя способами: во-первых, ежедневно читал *"Le Monde"*, из которого вылавливал в первую очередь все сообщения о Польше, России, Украине и Восточной Европе в целом, во-вторых, [...] пытался у своих гостей о том, что они слышали, читали, видели. Он был удивительно жаден до новостей. Олицетворял любознательность, был ее воплощением. На иные новости он реагировал всем своим телом. Надо заметить, что гостей он частенько принимал в сидячей позе, подвернув под себя ноги, сплетая на коленях руки. При невероятной худобе и двух метрах роста он походил на диване более всего на гимназиста, пригласившего в свою мансарду приятелей из класса.

Как-то он сообщил мне по телефону, что когда получил добрую весть об одном из друзей, "он от радости скакал на диване, как щука". Диван был его территорией, его заповедником, его библиотекой, спальней, мастерской, салоном. Отец Чапского владел большим помещением под Минском, дворцом в Прилуках, имел прислугу, кареты, деревья, леса и розы, у Юзя был диван. Позже, когда состарился и лишился сил, он лежал на этом диване без движения (на нем же он и умер). В ту эпоху, однако, о которой идет речь, когда он еще жил нормально, в диване не было ничего зловещего, отнюдь;

ночью он служил кроватью, днем же Юзю, прислонясь к подушке, которая прилегалa к потертой в этом месте стене, сложившись, как перочинный ножик, и высоко задрав свои готические коленки, читал, делал записи в дневнике, писал письма, рисовал, принимал визитеров - все на диване. Над диваном были расположены полки с книгами и альбомами репродукций живописи. Книги стояли на одном и том же месте столько лет, что Юзю брал их на ощупь, автоматически. Его длинные руки, как клешни портового крана шли вверх, касались переплетов и безошибочно (а может иногда все же с ошибкой) снимали с полки каталог выставки Моранди, том эссе Милоша, стихи Гофмансталя, книгу Симоны Вейль. Если нужная ему книжка находилась на верхней полке под потолком, то Юзю вставал на диван, делаясь еще выше и качаясь на зыбкой основе матраса, так, что я - да, наверно, и всякий другой гость в такой ситуации - боялся, как бы этот девяностолетний гимназист не кувырнулся вниз. Однако он пребывал в своих собственных владениях, и ничто не грозило ему на диване, который заменил дворец в Прилуках.

И не было в этом - в этой редукции - ничего унижающего, не ощущалось нищеты, напротив, диван стал дворцом: его башнями были бутылки Моранди, его кровлей стало стихотворение Херберта, лестница была выложена из пухлых томов с трудами Мальро об искусстве, а сад заменяли два окна, за которыми раскачивались ветви французских каштанов.

Диван и мотороллер (исчезнувший к тому времени, когда я подружился с Чапским) - вот и мужество Юзи. Но если вдруг у какого-нибудь зажиточного читателя моего текста защежит сердце от жалости к обедневшему аристократу, то я поясню: делом Чапского была скромность, но не убожество. Жизнь Чапского протекала в комнате, представляющей некую часть виллы-фаланстера-издательства. Эта комната была разделена на две зоны, центром первой был диван, над которым красовались полки с книгами, центром другой - мольберты. Занятие живописью было связано с вертикальным положением тела и требовало определенного пространства для взмахов руками. Кроме того живопись была связана с химией масляных красок, с их запахом, с их способностью марать постель и рубашку, отчего их надлежало держать подалее от дивана.

* Варанты перевода названия: [Усердие и свет.-?]

„Piłowanie“. - усердность, рвение, прилежание, старание; стремление-?, устремленность-?, искание-?, подвижничество-?; страда, пахота - о жаркой, усиленной, летней работе, переносное значение, (в словаре Даля устаревшее русское - "пиль"); также возможны словосочетания со словом "труд" (или "искание" -?): "усердный труд", "кропотливый труд", "мучительный труд", "мученический труд", "постоянный труд", "неустанный труд", "изнуряющий" или "изнурительный труд", "неотступный труд", "нудный" или "занудный труд", "пожизненный труд", "неблагодарный труд".

„Błysk“. - проблеск, сияние, сверкание, (или просто) свет.

Устройство комнаты отражало двоичность творческого дара Чапского. Чем больше я знакомлюсь с его рассеянными по всей Европе полотнами, тем больше восхищаюсь его творческим методом, идущим от *ecole de Paris*, от Боннара, Матисса, и тем не менее методом вполне определившимся, самостоятельным, ориентированным на созерцание и рассматривание. [...]

Столько лет с кистью в руке! С ранних двадцатых годов по поздние восьмидесятые. Семьдесят лет с кистью в руке в Кракове, Париже, Варшаве, потом только рисунки в советских лагерях, и вновь жизнь под Парижем, прибавим еще годы размышлений о живописи, статьи об искусстве, студии и временами неожиданные открытия. [...]

Рисовал он всюду: дома, в период летнего отдыха, который и отдыхом-то нельзя было назвать, поскольку он проходил в интенсивной работе на пленэре. Судя по дневникам, живопись не раз приобретала у Чапского экстатический характер, не всегда, не ежедневно, но где-то на вершине, в избранные мгновения, после долгих приготовлений, после многодневной пахоты после многих попыток и поражений наступал экстатический пир, приходили триумфы, дионисийские празднества. Кратковременные карнавалы. Мгновения. Но именно в эти мгновения возникали сотни картин; летом 1992 года мы посетили большую выставку Чапского в Варшаве: пейзажи, натюрморты, жанровая живопись - все это выросло из различных импульсов и потребностей и теперь, в залах музея они составляли единое целое, одно дополняло другое, экстазы преобразовались в прочно существующий лес полотен. [...]

Если мольберт играл такую колоссальную роль в духовной жизни Чапского, то это вовсе не значит, что диван с его спокойными, умеренными, более рациональными ритуалами, оставался без назначения, на втором плане. Далеко от такой постановки дела, тем более, что, - как все или почти все - я знал Юзя безмятежным, улыбающимся, задумчивым, а о том другом, отчаянном и безумном, мог только догадываться и представлять его себе на основе дедукции и дневниковых записей. Однако, это было поразительно, общаться со светлым, спокойным человеком, полным простоты и доброты, милым, интеллигентным, любознательным, и знать одновременно, что он переживает порой иное состояние, менее взве-

шенное, по-своему опасное, драматичное, и не бояться, а только спокойно плыть в тихом океане его вежливости.

За мольбертом Чапски общался с темными, бурными стихиями, боролся с ними, пытался их победить. Подумать только, существовали люди, которые этого не знали, которых Чапски даже раздражал своими ангельскими повадками, преувеличенной добротой. [...]

Долгие часы во второй половине дня он проводил с гостями, попивая кофе, в который бросал по шесть кусков сахара. Его интересовала Польша и Россия, Европа и Африка, интересовала живопись, поэзия, он азартно переживал внезапный крах коммунизма, его занимала проблема страдания и зла, впрочем, его лицо прояснялось, когда речь заходила о медитации, об интенсивной внутренней жизни. У него были свои агенты и посланники, специалисты по разным вопросам и континентам: от Михаила Геллера он узнавал о преобразованиях в России, Мария Новак приносила ему вести из третьего мира, Войцех Карпински рассказывал о визитах в европейские музеи, приезжие из Польши передавали тамошние новости, Юля Юрьс, Тереза Дзедушицка и Иоанна Веруш-Ковальска сообщали о прочитанных книгах и событиях. [...] Суд заседал ежедневно, ежедневно происходили совещания, судья Чапски выслушивал свидетелей, бывало - и такое могло случиться - плакал. [...] Поток свидетелей на послеобеденные совещания к Чапскому не иссякал никогда. Упомянутые мной имена - лишь малая часть гостей и друзей Юзя. Из Польши приезжали Анджей Вайда, Кристина Захватович, Яцек Возняковски, Адам Михник, Станислав Родзински, Эльжбета Лубенска и многие другие, из Женевы - Жанна Херш, из Парижа - Дмитриевич, из Бельвиля - супруги Верне, из Калифорнии - Милош, из Берна - когда-то, в давние времена Ежи Стемповски. И так далее, и так далее. О многих гостях-свидетелях мне ничего неизвестно, многие умерли еще прежде, чем я познакомился с Чапским, о некоторых я вовсе ничего не слышал, впрочем, я не стремлюсь составить полный или хотя бы мало-мальски обширный список друзей Чапского. Но я убежден, с каждым он беседовал в свойственной ему манере, иначе говоря, проникал сразу в сущность проблемы, отбрасывал пустые словеса, отвергал *small talk* и спрашивал по существу, совершая свое бесконечное следствие по проблемам мироустройства. Не я

один находился, разумеется, под обаянием Чапского, другие тоже восхищались им, стремились к нему так, как припадают к источнику. [...]

Восхищение Чапским носило двойственный, даже тройственный характер: восхищение художником, восхищение писателем, автором эссе и воспоминаний, и восхищение человеком, его простотой, умом и добротой. Каждый, кто с ним встречался, мог сделать предположение, что он один из 36 праведников, в чье бдительное присутствие на земле верят хасиды. Именно потому он обладал правом судить, которым никогда не воспользовался, ибо никогда не вынес приговора. [...]

Был еще один мотив, чисто биографический, который не мог не повлиять на воображение Чапского и его друзей. [...] Полякам эта история хорошо известна: в сентябре 1939 года Чапски в чине капитана польской армии попал в советский плен. В трех лагерях оказалось в общей сложности 15 тысяч польских офицеров и сержантов, интренированных русскими. Весной 1940 года почти все эти военнопленные куда-то исчезли, и только около 400 офицеров очутились в особом лагере в Грязовце. Сейчас всем известно, что пропавшие были расстреляны по приказу Сталина. [...]

Чапский выжил и в соответствии с причудливой логикой своей жизни оказался в числе уцелевших в Грязовце, где отличился тем, что провел серию лекций о Марселе Прусте. Жизнь Чапского полна противоречий: этот уравновешенный, доброжелательный художник кисти и пера даже в центре архипелага ГУЛАГ занимался шедевром Пруста. Возможно, самым необычайным моментом его жизни, во всяком случае, в плане внешней канвы его биографии, была миссия, порученная ему генералом Андерсом: найти пропавших офицеров. В течение нескольких месяцев Чапски ездил по России и беседовал с генералами НКВД, спрашивая их о судьбе исчезнувших соотечественников. [...] Его не покидало ощущение, что он в чем-то виноват перед своими несчастными, расстрелянными в лесу товарищами, и что должен теперь до конца жизни осуществлять порученную ему Андерсом миссию поиска жертв НКВД, даже если это, может быть, ставит его в положение несколько "официальное", "иерархическое", "избранное" (для тысяч людей в Польше Чапски все еще остается более "мстителем Катыни", чем художником и эссеистом).

После войны он с облегчением вернулся - поздно, лишь в свои пятьдесят лет - к живописи. [...]

Доброта... Ибо был он также просто человеком очень добрым, для которого друзья существовали не только для того, чтобы с ними беседовать, но, главным образом, чтобы помогать им в нужный момент. В тот период, когда мы познакомились, у него не было уже сил для активной помощи, но, например, в письмах Жана Колена к Чапскому я увидел образ Юзя, "разъезжающего с пакетами для друзей по Парижу". Не раз потом он жаловался - в своем сугубо личном дневнике, - что не остается времени на живопись, чтение, размышления, однако, все остальную свою деятельность он рассматривал как обязанности, очевидность которых не обсуждается.

То, что он был человеком редкого обаяния, известно всем, кто его знал. Чтобы в него влюбиться, Анне Ахматовой достало одного вечера, проведенного с Чапским (Юзем ?) зимой 1942 года в Ташкенте, где она жила тогда вместе с другими писателями, эвакуированными из Ленинграда и Москвы. Этой встрече она посвятила стихотворение; а недавно я узнал, что Бродский, увидев впервые фотографию Чапского, сказал: "Теперь ясно, почему Анна Андреевна в него влюбилась, он красив, как белогвардеец".

Он не был сильной личностью, привлекающей внимание публики своей экспрессивностью. Нередко он отказывался от бесед, известны случаи - уже из поздней эпохи *Maisons-Laffitte* - когда он отсылал докучливых гостей, приходивших поглядеть на "великого Чапского". Иной формой его отчуждения от коллективной жизни была присущая ему страсть рисовать и записывать мысли в тетрадках, которые он всюду таскал с собой. [...]

Человек мыслящий, Чапски относился к той редкой категории творцов, которые - хотя страстно борются, ищут и сомневаются - к концу жизни все равно ничего не знают в отличие от представителей того большинства, которые знают или считают, что знают, и с жаром проповедуют три-четыре идеи. [...] Он долгие годы сомневался в своем таланте художника, критически оценивал составляющие своей личности - "граф", "поляк", "католик"; был свободным человеком, ищущим правды, и творцом, жаждущим правды и художественного выражения, до конца. Писал, стараясь передать "ужас мира", и, действительно, его поздние

картины, созданные, когда ему было уже под девяносто, достигли той живописи, где беспокойство или ужас неотделимы от безмятежности и даже счастья. Его дневник несет следы глубоких переживаний, следы сомнений и отчаяния, и в то же время озарения, радости, удовольствия, почерпнутых из ежедневной работы и чтения.

Чапски, который ничего не знает, - что это значит? Человек, читающий все, поэзию и эссеистику, цитирующий на память стихи польских, русских и немецких поэтов, наделенный даром неистощимого интереса к миру и к людям, художник, который учился писать до глубокой старости - что это значит, что он ничего не знает? Сумею ли я это объяснить? Думаю, его незнание имело религиозную основу: очень сильная вера и очень сильное сомнение, и одновременно абсолютная неспособность застыть в некоей окончательной метафизической убежденности. [...]

На ночном столике он держал книги Симоны Вейль и Станислава Бжозовского, двоих безумных, умерших в молодости писателей, которые "знали". Он нуждался в присутствии мыслителей, убежденных в своей правоте, поскольку он сам ничего не знал. [...] Ему постоянно была необходима Симона Вейль, чтобы свое "не знаю" греть под яркими лучами ее фантастического "знаю". И в результате его "не знаю" стало огненным, лучезарным и куда более волнующим, чем сотни известных мне "знаю". То не было "не знаю" из амнезии, лени, депрессии или отрицания, то было положительное, вдохновенное, разумное "не знаю".

Именно оно содержится в самой сердцевине произведений Чапского, пульсирует в его замечательном дневнике, в его эссе, именно оно оживляло его беседы с друзьями и с людьми, которых он едва знал, которых впервые видел, именно оно, хоть несколько иным образом, стимулировало его живопись. Может, как раз благодаря верности своему упрямому "не знаю", он оказался в состоянии работать кистью до глубокой старости, всегда недовольный своими успехами, преклоняющийся (почтительный) перед великими мастерами, открытый новым веяниям и воззрениям в том возрасте, когда другие благосклонно репродуцируют самих себя и сооружают собственный памятник в самодовольных автобиографиях. "Не знаю" Чапского было основой его духовной жизни, его многолетнего паломничества. [...]

Его "не знаю" не имело отношения к очевидным вещам, к обидам, к боли, к политической лжи. Но там, где велись неустанные споры, в сфере мысли и философских альтернатив, он сохранял вечную свободу ребенка. И еще юношеское чувство юмора. Его потрясало страдание, и в то же время он умел смеяться. Религиозное мироощущение не только не убивает чувство юмора, но формирует и развивает его.

Говоря о Чапском, ощущаешь, что имеешь отношение к кому-то воистину великому, но само понятие величия стесняет и беспокоит нас. Теоретический багаж, которым обеспечивает нас современная философия, не способствует постижению величия. Ему самому, Чапскому, его безусловная честность в каком-то смысле мешала: он то и дело выяснял, подлинные ли чувства его обуревают, не является ли мгновенное озарение диверсией желез и гормонов. Ему не дано было ощутить полноты триумфа ни в живописи, ни в литературе. [...]

После смерти Чапского его полотна и его сочинения преспокойно хранятся в галереях, музеях, частных собраниях и библиотеках, совершенно спокойно, как бы ничего не ведая об уходе своего создателя, хотя телесная сущность Юзя навсегда исчезла с поверхности земли. Исчезла его двухметровая, чуть сгорбленная фигура. [...]

Он имел множество друзей, которые любили его и бесконечно восхищались им, аж до самого конца. Хотя, в сущности, он был человеком одиноким.

Он был моим другом и мэтром. Мастером моего невежества.

Февраль, сентябрь, ноябрь 1993.

Adam Zagajewski. *Pilowanie i blysk*. (Fragmenty) "Zeszyty Literackie", No 46, Wiosna 1994.

Перевел с польского Святослав Свяцкий.

Печатается с сокращениями.

Юзеф Чапски.

Национальность или исключительность?

Мне доводилось уже писать в *На нечеловеческой земле* * о моем разговоре в 1919 году со Стасовой, членом триумvirата северной Коммуны, в ее комнате-камере в Смольном в Петрограде.

Пробираясь к ней через несколько залов, я наткнулся на кипы пропагандистских брошюр о колхозах.

- Вы верите в советскую пропаганду колхозов на деревне? - спросил ее.

Стасова посмотрела на меня так, как человек веры смотрит на несчастного недоверка:

- Бытие определяет сознание, мы изменили бытие, идея насаждается, возвращайтесь лет через двадцать, тогда увидите, - ответила она спокойно.

Эти слова врезались мне в память до такой степени, что когда ровно двадцать лет спустя везли нас в глубь России в теплушках, я жадно всматривался и был почти уверен, что увижу на лицах людей хоть слабый отблеск новой социалистической земли и нового неба. Понадобилось всего несколько часов, чтобы прочесть правду на потухших лицах станционной толпы. Потом увидел, узнал мужиков в колхозах. Страсть к земле, жажда обладания ею представлялась мне в этих людях по-прежнему такой же неизменной, прочно укорененной, как бы даже усилившейся в состоянии ожесточения. Пророчество - "научная" аксиома Стасовой, "совести революции", как ее тогда называли - оказалось призрачной мечтой. Постоянная, вековая страсть к собственности...

*

Когда в Старобельском лагере я слушал стихи Мицкевича и даже Ор-Ота** о Сибири и ссылках, то был потрясен новой для меня их абсолютной идентичностью, как в момент создания, их актуальностью, их магической силой, благодаря этому стократ усиленной. Тогда же я почувствовал не исчезновение, а упорное существование мира зла и обид, которые, как нам казалось еще несколько лет назад, канули в прошлое.

*

Кстати, и сегодня в беседах со многими, кто приезжает с родины, поражает меня градус, сила их *экзасперации****, вызванной обидой на Россию.

Наш взгляд на страну, которая есть и будет нашим соседом, "ибо мы не изолированы морем, как итальянский полуостров", всякий раз сталкивается - и мы должны об этом помнить - со взглядом на Польшу, таким же упрощенным и, несомненно, не менее враждебным. *Кичливый Лях* Пушкина и пресловутые *Полячишки* Достоевского - гениальные карикатуры польского лицемерия, панского чванства и патетической фразеологии, без всяких доказательств они, в свою очередь, фальсифицируют и принижают правдивый образ Польши в глазах миллионов россиян.

[...] образ бесчеловечной России, которая несет и может нести только гибель и зло, не мог не развиваться и не стать популярным в Польше, в Венгрии и во всех странах, где распространено ее господство. Для современного поляка россияне - это те, кто вывез на Восток полтора миллиона польских граждан, обрекая большую часть из них на гибель, кто уничтожил тысячи пленных в Катыни, это они коварно похитили знаменитых шестнадцать и с оружием у ног смотрели на гибель Варшавы, это они насадили ненавистную *бесплеку*****, которая всех истязала, это они задавили героическое венгерское восстание советскими танками, это они на днях казнили Имре Надя и его товарищей, через полтора года после подавления восстания. Итак, ничего, ровным счетом ничего не изменилось и измениться не может, ибо это навсегда одна и та же Россия, правы были и Мицкевич в

* Книга Ю. Чапского *"Na nieludzkiej ziemi"* (1949).

** Ор-От - Артур Оппман (1867-1931) польский поэт. - Прим. переводчика.

*** От французского *exasperation* - сильнейшее раздражение, ожесточение; разъяренность; неистовство; выведение из себя; приведение в отчаяние; напряженность до крайности.

**** разговорное, производное от *Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego* (пол) - Министерство общественной безопасности.

III-ей части *Дзядов*, и Конрад *, и Кюстин **, и Маркс, который писал, что Москва сложилась “в школе унижения, ставшего страшным монгольским ярмом, через Петра, соединившего в себе политическую изворотливость монгольского невольника с высокомерными притязаниями властителя, которому Чингисхан завещал завоевание мира”.
Итак, как когда-то над *кресовой* *** шляхтой XIX века, как над Конрадом, вновь довлеет образ России из *Дзядов*, из *Смотра войска* :

... Такая смерть, терпение такое -
Геройство пса, но, право, не людское ****

Но разве не существует в нашем сознании наравне с этим другой взгляд Мицкевича, *приятеля Москалей* ?

... Вы помните ль меня? Среди моих друзей,
Казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых,
Сыны чужой земли! Вы также с давних дней
Гражданство обрели в моих заветных думах.

* Конрад Джозеф [псевдоним, настоящее имя Юзеф Теодор Конрад Коженевский] (1857-1924), английский писатель; по национальности поляк; сын участника польского восстания 1863; был моряком, капитаном английского торгового флота, принял английское подданство; автор повестей и романов, главным образом, о жизни моряков, морально-психологической проблематики (столкновение чувства долга, гражданской ответственности, чести и личного героизма): “Лорд Джим” (1900, рус. пер. 1926), “Сердце тьмы”, “Теневая черта” (1917, рус. пер. 1925), “В глазах Запада” и др.

** Астольф де Кюстин (1790-1857), маркиз, французский литератор, монархист; после посещения России по приглашению Николая I написал книгу “Россия в 1839 году”, вызвавшую множество опровержений и запрещенную в России.

*** Приграничная, окраинная (пол.) Представители дворянства из окраинных областей Польши - *szlachta kresowa* - всегда являлись самыми рьяными сторонниками идеи польской независимости, хранителями традиций, олицетворением *польскости*.

**** Здесь и далее тексты Мицкевича цитируются в переводах В. Левика.

Каждый, кто хоть пару лет прожил в России, читая это стихотворение, мысленно подкладывает под него лица *своих* друзей, свои собственные *прекрасные* воспоминание о России и русских.

Слышит ли кто-нибудь сегодня одинокий голос Норвида в его заметках о России, утраченных в довоенное время, сегодня уж не до поисков того издания его писем. Но именно Норвид, враг “патриотического пуританства”, восстает против односторонних оценок, и *слово его есть твердыня* для каждого приверженца стереотипов, которым даже Конрад поддался, а Норвид настолько не поддался, что в 1863-1864 годах осмелился атаковать самого Мицкевича - заметил, что не является тот поэтом народным, а лишь *исключительным*.

“... Крайняя неосведомленность в интеллектуальной сфере” - писал Норвид. - “И в сфере духовной деятельности тоже самое, поэтому сталкиваешься с подобными вещами и в исторической действительности. Так, как исключительность Мицкевича однажды назвали народностью и теперь продолжают называть с трепетом, подобным лихорадке, при котором дискуссии неуместны, так и в реальной жизни выдадут *исключительность за народность*. Стоит только Духиньскому крикнуть: “Москаль - тот же китаец”, то все будут довольны, а если кто-то вдруг предостережет, как сегодня: *нация слагается не только из своего духа, который отличает ее среди других, но также из того, что ее с ними объединяет*, и поэтому невозможно вырубить полосу в 20 квадратных миль вокруг Польши, обеспечив тем самым существование истинно народного поэта и народного историка, - то они оплюют тебя, и тем самым *утвердят противника в сепаратизме, как уже сделали, доведут врагов до бешенства, а заодно потеряют и друзей. Каждый анахронизм всегда несет такие плоды!*”

“*Лишь свободные люди*” - пишет Норвид в другом письме - “*лишь те, кто не имеют с колыбели железом выжженное клеймо РАБ, знают о том, что, гранича с Россией, нужно в ней иметь СВОЮ ПАРТИЮ, ибо иначе всегда встретятся два МОНОЛИТА, и посредника между ними не будет, а как скоро два монолита столкнутся между собой, наступит небытие и окончательное истребление сил*”.

Но мои пессимистические замечания о нашей самоизоляции в польской *morale clause** и неспособности к объективизации наших обид, возможно, тоже односторонни.

Видел и знаю не одного поляка, реагирующего эти вопросы подобно Норvidу, а не по “стереотипу”, знаю людей, которых мучили, даже пытали, и которые, тем не менее, не держат на русских зла, более того, которые, покидая Россию, прощались с нею со слезами, ибо от русских получили они тогда же столько братства, столько сочувствия, потому что узнали именно тех, кто то же, что и они, терпели и так же, как они с насилием пробовали бороться. Много ли таких поляков - не знаю.

Людей с подобным отношением к России я встречал также среди знатоков русской литературы. Впрочем, враги России всякой, царской, советской или “республиканской”, даже те не отказывают русской литературе в величии и глубине, не признавая те органичные связи, а именно кошмар российский и гений российский, жестокость и милосердие, изысканнейшая, подлинно европейская культура и варварство, - все это сливается в единую реальность, и кто эту *цельность* пытается нарушить, будь он даже Конрадом, тот мыслит не реальными категориями, а фикциями. Эта русская литература, всечеловеческое значение и величие которой никто уже, за исключением, пожалуй, одного лишь В.А. Збышевского, не отрицает, связана с российской действительностью. Такова элементарная истина.

В *Дневнике* Толстого за 1903 год есть черновик рассказа *Божеское и человеческое*; этот черновик всегда казался мне образцом суровой и совершенной прозы, “безошибочной верности правде”, как сказал о Толстом Пастернак. На каких-то пяти страницах Толстой рисует образы приговоренного к казни через повешание врага всяческого насилия Светлогуба, службиста-генерала, который приговаривает его к смерти, матери приговоренного, террориста, мечтающего об истреблении тысяч людей и мужика-сектанта, годами торчащего в тюрьмах за то, что искал правды. Весь извечный русский мир, ибо конфликты этого рассказа вечны: религия, свобода, насилие, фанатизм веры, любовь и самопожертвование.

В полном московском собрании сочинений Толстого я нашел описание того, как этот рассказ возник. Что за абсолютная, едва-едва трансформированная верность

действительности. Герой рассказа Светлогуб - это повешенный в Одессе в семидесятых годах Лизогуб, сын русского помещика и, возможно, некоей польки, поскольку фамилия ее - Дунин-Борковская. Ткань этого рассказа так срослась с российской действительностью, что отделить ее нет никакой возможности. Это один из миллиона примеров сплава литературы и жизни - до цитирования.

*

Может ли образ России, исключительно жестокой и преступной, который, наверное, нигде больше так не узнаваем, как в странах, ею либо Советским Союзом поглощенных или подчиненных ими, удивить русских, скажем, тех лучших среди них, которые сами все исходящее от нынешнего режима терпят не менее жестоко? Пропасть, обазовавшаяся между Россией и поработоченными ею странами, прежде всего это относится к Польше и Венгрии, настолько глубока, что ломка, преодоление этого всесильного, стократного стереотипа, например, в Польше, кажется абсолютно невозможными, когда бы не одно соображение, не одна истина, совершенно очевидная, что свобода на всех одна, и что террор, давящий всех, един. Выход рабочих на улицы Берлина, познанские события, Паздзерник **, венгерское восстание, тщательно скрываемые, яростные столкновения внутри коммунистических партий во всех странах после доклада Хрущева на XX съезде - партий “монолитных”, единых со слов их предводителей - все это останется трагическими, безнадежными жемами, ежели Россия в эту борьбу не включится, если не только польские, немецкие или венгерские рабочие, интеллигенты или крестьяне будут готовы бороться за тот старый, преданный, столько раз оболганный и употребленный во зло, но по-прежнему единственный лозунг свободы. Пелена “молчания, более страшного, чем несчастье”, покрыла Россию, большего, чем сто двадцать лет назад, когда Кюстин писал эти

* Нравственная ограниченность (лат.)

** Październik (пол.) Так называют в Польше бурный октябрь 1956, известный приходом к власти Владислава Гомулки и заметной либерализацией в стране, октябрьские события 1956 года нашли отклик во всех странах социалистического блока, особенно в Венгрии.

Как жить?

слова. Но мы *знаем* о бунте в Воркуте, *знаем* о брожениях в университетах, в вузах, *знаем* о крайне антисоветских настроениях среди молодежи, среди того молодого поколения, чье политическое сознание формировалось в период XX съезда. Повсюду, где только пусть на самом крошечном пространстве появляется свобода мысли, эта свобода порождает свободу. И потому еще взгляд на Россию только как на страну, которая имеет «единственный вид фанатизма - послушание», является в силу своей односторонности фальшивым.

Толстой опиывает в *Воскресении* молодую травку, которая весной пробивается даже среди тюремных камней. Без той надежды, что и в России не угасла воля к борьбе, что и там можно построить жизнь более свободную, за которую столько поколений русских погибло, все попытки либерализации, все ревизионистские начинания в странах, захваченных Россией, останутся жестами отчаяния утопающих.

Когда люди узнают Россию не только как школу унижения, но и как мир борьбы и любви к человеку, лишь тогда те друзья-москали смогут поднять голос и начать бороться с тем образом России, чрезвычайно жестокой и исключительно бесчеловечной. Ежели удастся заново возродить инстинкт *утраченной солидарности* с той, другой Россией, которая никогда не переставала существовать, тогда сможем мы мечтать о будущем, которое не станет, как писал Норвид, «столкновением двух монолитов, небытием и окончательным истреблением сил».

«Kultura», 1958, No 9/131.

Перевели с польского
Святослав Свяцкий и Татьяна Косинова.

[...] Все мы знаем Валериана Лукасиньского, основавшего в 1821 году тайное Патриотическое общество. Ни одна публикация по истории Польши XIX века без его судьбы обойтись не может, но как это обычно происходит, факты и слова, чересчур часто повторяемые, понемногу мертвеют. Мы знаем факты, но наше воображение за ними не поспевает.

Лукасиньский, как преступник из преступников, провел сорок лет в тюрьме, из которых тридцать в подземных казематах Шлиссельбургской крепости, под нависающими гранитными сводами, полностью отрезанный от мира и людей, ибо даже охранявшим его солдатам было строжайше запрещено с ним разговаривать. Пищу подавали ему в молчании. В духовнике, о котором он многократно просил, ему отказали. Со временем даже было забыто, кто он, этот опасный преступник. Много лет спустя после его ареста сестра Лукасиньского обратилась с прошением к царю, не пожелает ли он сообщить ей, жив ли ее брат, молиться ли ей за него, как за живого или как за умершего. На прошении написано: «Оставить без ответа». Лишь в марте 1862 года к Лукасиньскому допустили исповедника. В сентябре 1863 старец начал запись своих воспоминаний. Он умер 17 февраля 1868.

В книге, о которой пишу *, помещено его завещание, которое сегодня каждый может легко прочитать. Вот его фрагмент:

«С 1815 года до 1863 минуло уже сорок восемь лет, то есть почти полвека. Три поколения прошли, а четвертое начало свой путь. Каждое поколение передавало последующему страдание, слезы и скорбь, а вместе с ними проклятия, ненависть и жажду мести. [...] Я не жилец уже на этом свете. Свободный от страха и надежды, а за одно и от предрассудков, предубеждений и страсти, почти не связанный с действительностью, я живу лишь в прошлом. Прошлое - мой рубеж, с которого я готовлюсь уйти в далекий путь к неведомым краям будущего. В таком настроении я надеюсь вскоре предстать у престола Всевышнего и предъявить обвинительный акт против несправедливости и тирании, про-

сить буду не кары, не мести и даже не суровой справедливости, лишь только отеческого наставления для виновных, утешения и облегчения для страждущих и, наконец, согласия, мира и благословения для обоих народов, ибо они соседи, и не будет им дано насладиться благополучием, если сохранят прежнюю ненависть и станут взаимно вредить друг другу.

Мой голос слабее гласа вопиющего в пустыне, его не услышит ни одно живое существо».

Лукасиньский после борьбы за Польшу, после десятилетий неволи, тюрем и подземелий достиг вершины «любви к врагам своим». Но как сегодня, вчитываясь в его завещание, жить в стране, где попраны свобода и право, где правит ненавистная партия, а маленький человек в черных очках сумел развернуть целую армию полиции, которая душит и топчет страну, избивает и убивает в тюрьмах, на улицах, мужчин, женщин, даже детей?

Как приблизиться, как дорасти до такого всепрощения? Пассивным подчинением или борьбой? И в этой борьбе в защиту свободы не забывать ни на мгновение о тех лучших, которые полностью отдались сражению, возродили в нас надежду, свободное дыхание и свободную мысль, сотворили новую национальную солидарность, помнить о тех, кто сегодня за это брошен за решетку, как преступник, о тех, кто уже ныне принадлежит к золотой легенде нашей истории.

Как мы, как каждый из нас может достичь того высшего уровня всепрощения, которое стало содержанием и сущностью этой великой книги? Как жить?

Да будет мне позволено вспомнить тут мое давнее прошлое. Мне было около двадцати лет, когда, будучи в России, я открыл для себя Толстого и его теорию непротивления злу насилием, ставшей для меня тогда открытием и Евангелием. Для меня и нескольких самых близких мне людей это было больше, чем грезы юности, это было откровением, как следует двигаться дальше. Война близилась к концу, и горы трупов делили фронты от фронтов. В России разразилась революция. Может быть, эта война, в самом деле, последняя? Может, наступит братство?

Возникла Польша. Еще без границ, возникла в едином порыве к свободе, от Восточного Корпуса в России, от войны за Львов до восстания в Силезии. Трудно себе сегодня представить, чем был тот всеобщий порыв.

Можно только сравнить его с порывом Солидарности. Сам я пребывал тогда в абсолютном душевном разладе. Моя толстовская вера не позволяла мне участвовать в этом порыве, куда тянуло меня всем сердцем. Обратился я тогда с просьбой к мудрому христианину, чтобы просветил меня в моем разладе с самим собой - им был Дмитрий Мережковский. Выслушав меня, он рассказал мне русскую притчу, которую так хорошо помню, будто сегодня ее услышал.

«Шел к небу странник широким трактом, полным густой грязи. Шел по обочине дороги, чтобы своего белоснежного одеяния не запачкать. В это же время по центру дороги мужик вез в телеге убогий свой скарб, аж в глубокой грязи сломалось у него колесо. Позвал он странника, попросил о помощи, но тот ответил, что помочь ему не сможет, потому что не должен пачкать в грязи свое белоснежное одеяние. За ним шел другой странник, который увидев разбитую телегу и мужика в беде, забыл о своих белоснежных одеждах, вошел в грязь по пояс и мужика с телегой спас. Оба странника добрались до ворот рая. Святой Петр-ключник первого странника без труда впустил, ведь его одеяние было белоснежным, но второго, выпачканного по пояс, как ему же впустить?»

На суд проводил его к Богу. Господь взглянул на обоих странников и обоим велел пустить на небо; первого он впустил потому, что у него было белоснежные одежды, сказав: «Пусть освещается имя его раз в четыре года в високосный день». Потом глянул Бог на странника в забрызганной грязи одежде и рек: «Ты также попадешь на небо, потому, что увидев человека в нужде, ты забыл о своих белых одеждах. Так вот за это станешь ты святым, и Церковь моя станет величать тебя три раза в год».

Эта притча изменила мою жизнь. Итак, не пассивность будет отныне моим уделом, а борьба?

Едва возвратившись в Польшу, я тут же вернулся в армию и имел честь принять активное участие во всеобщем движении к свободе Польши.

С большой робостью пересказываю я здесь эту легенду, которая повлияла на всю мою жизнь и помогла мне найти себя в минуты тяжких сомнений.

Возможно, любовь всечеловеческая труднодоступна, но и она может стать защитой от злобы, лишь одной своей мыслью, вытканной из мечты. Реальная любовь есть

* *Miłujcie nieprzyjaciół Wasze* (Любите врагов своих)

всегда любовь активная и действенная, ее-то в нашем жестоком мире и должны мы возвращать. И через эту неустанную борьбу сможем мы достичь всечеловеческой любви, которая объемлет и врагов. Спасая этим и себя, и тех, кого, возможно, от них самих спасти сможем. [...]

"Kultura", 1983, No 5/428

Перевел с польского Святослав Свяцкий.

Юзеф Чапски

Об Анне Ахматовой

Воскресенье. 20.VI. [1965]

(Вдруг телефонный звонок: Анна Ахматова проездом в Париже, и хотела бы меня видеть. Тотчас отправляюсь в Париж, в гостиницу на площади Этуаль, где она остановилась. - Запись сделана карандашом сразу после ухода. К ней я присоединил позже кое-что из забытых и неупомянутых вначале подробностей.)

Просторная комната гостиницы, Анна Андреевна в большом кресле, внушительная, полная, спокойная, чуть глуховатая. *Tres dame*.^{*} Невольно вспоминаются идеализированные портреты русских цариц восемнадцатого века. Кроме нее в комнате спутница Ахматовой, ее юная московская воспитанница - Каминская, полька по происхождению, и молодая англичанка из Лондона, входят и выходят давние друзья из эмиграции.

Год назад Анна Андреевна была в Таормине, где ей вручили международную премию "Этна-Таормина". Это был, кажется, первый, выезд Ахматовой за границу с 1914 года! Об этой премии она говорит очень иронично, как о некой большевистской комбинации. На обратном пути она тогда хотела ехать через Париж, но Сурков сказал ей: "Вы вернетесь так, как приехали". И теперь ее тоже отправили в Англию через Остенде, чтобы она снова не попала в Париж.

В Лондоне ей удалось упросить советское посольство - наконец получила разрешение, при условии, что пробудет в Париже не более двух дней. Но вчера, не получив соответствующих билетов для себя и спутницы, она отложила выезд на один день, чем вызвала резкие нарекания парижского посольства за нарушение субординации. На вокзале в Париже ее никто официально не встретил, был только Бушен, кузен ее мужа (знаю его с тридцатых годов, и именно ему обязан тем, что Ахматова отыскала меня).

^{*} Дама во всех отношениях (фр.).

На какое-то мгновение мы остались с ней наедине, и я сразу спросил о сыне (она говорила мне о нем в Ташкенте в 1942 году, о его аресте и вывозе из Ленинграда в неизвестном направлении еще до войны). Сказала, что сын провел в лагерях в около 14 лет, выпускали, снова сажали, "брал Берлин", теперь он на свободе, профессор, написал работу о гуннах, он в прекрасной физической форме, "но что-то в голове у него помутилось в лагере. После возвращения он меня возненавидел, не хочет со мной встречаться, уже три года его не видела".

- Ну что ж - добавляет Анна Андреевна, - так бывает, что самый близкий человек становится чужим.

Второй мой вопрос о поэте Бродском. Она его знает, высоко ценит. Его выпустили из ссылки под Архангельском на три дня (то ли на Пасху, то ли на Рождество?). "Самые высокие медицинские авторитеты, к которым мы его направили, оценили состояние его здоровья, как критическое, шизофрения и т.д., он вернулся в ссылку со всевозможными свидетельствами врачей, но тамошний лекарь счел его абсолютно здоровым.

- Не понимаю, в чем дело, ведь никого не арестовывают, и вдруг Бродский! - И Ахматова продолжает. - Сталин довел страну до крайнего разложения, и жить сейчас все еще трудно, но выросло новое замечательное поколение - *послесталинское*. Она говорит это с теплотой в голосе. И вообще говорит спокойно, очень скупое, без каких-либо преувеличений, и это придает особый вес каждому ее слову.

О "Культуре" она слышала от профессора Якобсона. Знает также, что я писал о ней, из упоминания об этом в какой-то библиографии, но самого текста она, разумеется, не читала.

Вспоминаю о Терце и Аржаке (Синявском и Даниэле). Реагирует крайне осторожно: "Не думаю, что *Фантастические рассказы* Терца могли быть написаны в России". И умолкает. (В самом деле она так думает или, может быть, все знает и поэтому так говорит?)

Бушену и мне она прочла в своей манере, нараспев стихотворение, написанное в Лондоне. Листок с этим стихотворением, вынутый из записной книжки с лондонскими адресами, тут же рвет в клочки, сказав при этом: "уже

знаю его наизусть". Записную книжку она тоже намерена уничтожить. Когда Бушен удивляется, почему же она не может привести своих собственных заметок, Ахматова бросает мне: "Вот видите, сорок лет не был в России, и даже он не помнит! Что говорить о французах!"

Знакомые из эмиграции, друзья давних лет, поклонники ее поэзии приходят и уходят. Она показывает нам статью о себе в американской эмигрантской газете - полную энтузиазма. Говорит, что это может сильно ей повредить.

- Чем это может Вам повредить? - спрашивает кто-то из присутствующих.

- Ну хотя бы тем, что не появится книга моих стихов, и мне опять не позволят выехать. (Предполагается ее поездка в Америку.)

Разговор продолжается. Анна Андреевна вносит кое-какие коррективы в свою биографию, еще до четырнадцатого года (парижский период, ее дружба с Модильяни и т.п.) Та эпоха видится ей в безмерной дали...

Якобы Маяковский ревновал к Мандельштаму и еще к кому-то, и от этого такое нагромождение вранья о нем в книге, которая появилась в Америке.

Якобы в Париже то ли она ревновала Гумилева, то ли он ее. И добавила с юмором: "Ну что же, мы все в те времена кувыркались, а теперь о нас тезисы пишут!"

И появляется то же ощущение, что возникло, кажется, у Марии Домбровской, будто она уже превратилась в монумент, и все ее заботы лишь о полноте биографии. Ну, если не монументом, то бдительным стражем своего доброго имени и ревнивым хранителем точных фактов жизнеописания А.Ахматовой.

*

Написано позднее. ^{*} Такова была моя встреча с Ахматовой, первая после двадцати трех лет и последняя. Анна Андреевна умерла в марте 1966 года, и я глубоко сожалею, что моя заметка, поспешно нацарапанная

^{*} 1967.



Юзеф Чапский
Портрет Анны А. Ахматовой,
рисунки карандашом, 1965.

карандашом в тетрадке, вышла такой сухой и лаконичной. Я писал о ней в *"Нечеловеческой земле"*, о нашей встрече в 1942 году, умолчав, разумеется об всем, что ей могло тогда повредить, опустив ту нашу ночную прогулку после вечера у Алексея Толстого, когда я проводил ее до дому. Какова была с той поры ее жизнь? Многое остается для меня таинственным: стихи писались тогда не в стол - ближайшие друзья заучивали их наизусть. Ташкент, Алма-Ата, и внезапно неожиданная фраза Сталина: "Анна Ахматова - великий поэт", которая в мгновение ока меняет уже в период войны ее судьбу: честование в Москве, возвращение в Ленинград, а после войны ждановщина, новые преследования, затем после- сталинский период, когда тиски террора ослабевают, растет ее слава, ее легенда, и строки новых стихов доходят до нас из России и Америки. Например эти два, которые не покидают меня с тех пор, как впервые прочитал ее *Родную землю* (1961):

И в мире нет людей безжалостней,
Надменнее и проще нас...

и *Последняя роза* (1962):

Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать и умирать и жить...

и те, что изданы в 1963 году в Мюнхене в томике *Реквием* [...]

В кресле парижского отеля я увидел не ту трагическую и все еще прекрасную поэтессу, которую встретил в Ташкенте, а почтенную даму, как бы уже успокоившуюся, умиротворенную, которая издалека и свысока смотрит на свое прошлое и на дело своей жизни. Великую поэтессу в ореоле тогдашней, мировой уже славы, окруженную преданными ей молодыми женщинами и старыми друзьями из эмиграции.

*

Лишь после ее смерти я получил из Лондона письмо - меня спрашивали, знакомо ли мне стихотворение, написанное поэтессой в 1959 году, которое она якобы посвя-

тила мне. Никогда об этом стихотворении не слышал. Мне пояснили, что Ахматова зачастую поступала таким образом, не сообщала, кому посвящено стихотворение - пусть сам догадается. Но я того стихотворения не знал. Возможно, тогда в парижском отеле она ждала, что я о нем вспомню?... Мне прислали его лишь в 1967 г. Это стихотворение появилось в двух вариантах. Ниже я процитирую фрагмент из него по тому письму, которое некогда получил. А вот само письмо:

"Посылаю Вам фотокопию стихотворения из цикла *Ташкентские страницы* из книги *Без времени*, Москва-Ленинград, 1965. Первый разговор у меня был с одной приятельницей Ахматовой, которая обратила мое внимание на разницу двух вариантов и сказала, что Ахматова не посмела в первом варианте, который был в свое время напечатан, поместить слово "Варшава" (московское издание 1961 г.), но что теперь это вполне возможно. Моя собеседница спросила, не знаю ли я, о ком написала поэтесса. Ответила ей, что не знаю. А она мне на это: "А я знаю, но не скажу, скажу только, что слово "Варшава" даст вам ключ к ответу".

Через пару дней госпожа Х. (тоже близкий Ахматовой человек) сказала мне: "Не понимаю, почему Вам не захотели сообщить, о ком говорится в этом стихотворении. Был один польский художник, который прибыл в Ташкент во время войны, и которого встретила там Анна Ахматова". Что до меня, (пишет моя корреспондентка) то я убеждена, что единственным поляком, которого она тогда встречала, были Вы".

Это о письме. У меня самого нет сомнений, что стихотворение 1959 года - это поэтическое воспоминание семнадцатилетней давности о той ночи, когда я провожал ее от Алексея Толстого, о вечере, который я описал в книге, где я читал *a livre ouvert* * Норвида и стихи Балинского и Слонимского, которые дошли до нас из

* Без подготовки (фр.)



Анна А. Ахматова, Ташкент, 1942.



Анна А. Ахматова у решетки во дворе Фонтанного дома. Ленинград, 1926.

Лондона. Помню слезы на глазах Ахматовой, когда я неуклюже пытался перевести *Варшавскую колядку* :

Рождаешь сына ты, о мать,
В Варшаве средь руин,
Не лучше ль сразу же отдать,
Чтоб был распят твой сын?..

Ахматова обещала тогда это стихотворение перевести. Затем она читала наизусть свою *Ленинградскую поэму*. К этому эпизоду я не возвращаюсь, я описал его в книге. Помню, как провожал ее поздно ночью. Сиял месяц.

Дневная жара сменилась прохладой. Оба мы были пьяны стихами. Анна Андреевна не в самой учтивой форме отослала кого-то, кто хотел ее провожать. Тогда она и призналась мне, что смертельно боится за сына. "Я целовала сапоги всем знатным большевикам, чтобы мне сказали, жив он или мертв - я ничего не знала". И внезапно эта женщина, такая горделивая в гостиной Толстого, этого сталинского сановника, такая отстраненная от всех нас, стала мне по-человечески близка, оказалась другой женщиной и абсолютно трагическим человеком. Тогда она сказала мне: "Сама не знаю, что это, ведь мы почти незнакомы, но Вы мне ближе всех людей вокруг". Она могла спокойно говорить со мной, чувствовала иную атмосферу, большую свободу, отсутствие страха, который душил тогда в России каждый вздох у людей, буквально у всех.

Как благодарен я ей за это стихотворение, за то, что она захотела увидеть меня еще раз в Париже, и как не могу простить себе того, что не удалось мне с ней поговорить по душам, выслушать ее, как бывало однажды, не думал я, что то краткое свидание на людях станет последней встречей, и я больше никогда ее не увижу и уже не скажу ей, чем стали для меня некоторые ее стихи и та ташкентская встреча.

Józef Czapski. *Wyrwane strony*.
"Kultura", 1968, No 4/246

Перевел с польского Святослав Свяцкий

ИЗ ЦИКЛА "ТАШКЕНТСКИЕ СТРАНИЦЫ"

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, -
Одни под созвездием змея,
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы, не Варшава, не Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незрямая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...

И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.

В московском издании 1961 года две первых строчки третьей строфы выглядели так:

То мог быть Каир или даже Багдад,
Но только не призрачный мой Ленинград...

Об Алексее Ремизове

[...] Что до меня, то я познакомился с Ремизовым на одном из дягилевских балетов. Во время антракта он тогда стоял рядом с Прокофьевым. Сразу обратил внимание на маленькую фигуру Ремизова и его большую, почти китайскую голову в темных очках. Тотчас поразил меня взгляд из-за этих очков и еще сердечность и внимание, которыми он меня одарил. Но интересовал он меня тогда лишь постольку, поскольку был другом Розанова и Блока. Самого Ремизова я читал едва ли, в отрывках, и то случайно, между прочим. Хотелось мне узнать какие-нибудь детали и особенности жизни Блока и Розанова, подмеченные их приятелем.

Лишь в 1938 году, проезжая в Варшаве через Новый свет трамваем, впервые открыл для себя, благодаря *Nouvelles Litteraires*, прозу Ремизова, его коротенькие рассказы. Несмотря на скверный перевод, раздражающий своей бесцеремонностью, почувствовал такое напряжение, опустошенное одиночество и боль, что до сих пор помню место, где этот рассказ читал. Это был фрагмент из той самой, до тех пор неизданной книги *Учитель музыки*. Захватило меня острое сожаление о том, что живя так долго в Париже, ни разу не пытался его навестить, узнать его поближе. С того момента прошло тринадцать лет. И каких лет. Сейчас неожиданно узнал, что Ремизов живет в полном одиночестве, потерял в 1945 году жену, ближайшую спутницу всех лет недоли и всех начинаний, что он почти ослеп, в нужде, существует на нерегулярные пожертвования горстки приятелей. Одинокй, подвешенный в пустоте, но не как господин Твардовский, меж небом и землей, а между адом эмигрантских дрязг, зависти и нужды и адом неволи у себя на родине.

Отправился к нему: выведенная причудливой вязью странная записка на дверях требовала громко стучать, легкие торопливые шаги за сеной. Дверь открылась, я увидел ту же маленькую, только более сгорбленную от сидения над книжками фигуру и большую китайскую голову с очаровательной улыбкой. С этой теплой улыбкой он проводит меня через длинный темный коридор в светлую спальню-кабинет. Полки с книгами, стены сверху донизу обклеены абстрактными картинками-вырезками, напоминающими китайские рисунки и гобелены Пауля Клее. Стены переливаются серебром и пурпуром. Ремизов усаживает меня напротив себя на продавленный

гостями диванчик, а сам устраивается за столиком с огромной чернильницей. “На что Вы живете?” - спрашиваю его бестактно в ходе разговора. “О прошу Вас, добрых людей намного больше, чем мы можем себе представить. Они обо мне заботятся. Вот на сегодня имею кусок солонины, так сказать, *”dju ljar”* , на завтрашний день мне го принес добрый сосед - а на вечер у меня остался чай с хлебом... Когда бы Вы знали, как хорошо работается в этой полной тишине и одиночестве. Из этой квартиры я уже два года никуда не выхожу. Мне приятно, что живу на улице Буало, ведь это Буало написал *”de Ljar poetik”* *. Французы, скажу Вам, умеют работать над словом, знают, что такое слово, это нам, русским, подавай только содержание. Как мало людей понимают значение слова. Либо это гении, как Достоевский и Толстой - им, как бы ни писали, все удается (Вспоминаю, что сказал Маларме, когда Дега жаловался ему, что у него уйма замыслов, но не удается написать хорошего сонета: *”Mais, Degas, ce n’est pas avec des idees que l’on fait des vers... C’est avec des mots”* **)

Когда этот человек, русский до мозга костей, произносит французские фразы, мне кажется, что он говорит по-русски, только вставляет в свою речь французские словечки. Совсем по-русски звучат в его устах “консьерж”, “кофр” или “ордюр”*** В самом деле, эти слова хуже “парикмахера” или “галстука”. Пусть негодуют пуристы! В 1833 году Мицкевич, едва поселившись в Париже, без тени сомнения писал в своих статьях об “эклерах” (просветители), “эметах” (мятежи) и еще, что эмигранты прозябают в бездействии, они “руминуют” (жуют жвачку).

"Montagnes russes", "Kultura", 1951, No10

Перевел с польского Святослав Свяцкий.

* Поэтическое искусство.

** Но, Дега, стихи пишутся не замыслами, а словами. (франц.)

*** Мусор. (франц.)

Извозчик и лошадь

Когда много лет тому назад я писал большое вступление к французской книге переводов из Розанова *La face sombre du Christ* , то завершил его коротким рассказом о моей встрече в Петрограде на Неве с извозчиком. Мой короткий разговор с ним кажется мне с е г о д н я очень важным. Жанна Херш, которая мою статью корректировала, вычеркнула этот фрагмент: *”le lecteur pensera que tu l’a invente”* *.

Это было ночью. Вдалеке, у ярко-желтой стены бывшего Сената светил единственный фонарь. Помню только этот свет и черные деревья с черными листьями над Невой. Зачем я забрел туда, не знаю. Вдруг откуда-то показалась пролетка. Извозчик сидел на высоких козлах и понукал едва живой лошадью. Это был период страшного голода в Петербурге. Я не выдержал и сказал ему:

- Как можешь ты править своей повозкой, когда твоя лошадь подыхает с голоду?

Извозчик с высоких козел повернул ко мне голову. В памяти осталось его немолодое, плоское, без растительности лицо - он ответил мне, не раздумывая:

- *Мы все помрем!*

Не более того, но эта сцена меня потрясла, потому что это было как откровение. К тому времени я уже убедился, что польские офицеры, на поиски которых я вернулся в Петербург в конце 1918 года, были все расстреляны в Повенцах по дороге в Архангельск. Но я еще должен был ждать в голодном Петербурге фальшивых бумаг, чтобы иметь возможность вернуться в Польшу.

То было время моего бурного увлечения писателями, прежде всего Достоевским и даже Ницше, из которого потом едва ли чем-нибудь воспользовался. А также Розановым. Был это - аж стыдно признаться - мой счастливый период. Ходил к Мережковским каждые два дня, и они мне давали книжки, от которых я с болью отрывался только для того, чтобы что-нибудь съесть.

Сегодня, когда вспоминаю о тех месяцах, отчетливее всего вижу лицо того извозчика, его полуживую лошадь, все в темноте, вдалеке фонарь на желтом фоне Сената.

Это связано и с другим воспоминанием. Мережковские бежали из России в Польшу в 1920 вместе с Дмитрием Философовым, которого я встречал у них еще в Петербурге. Он очень отличался от них: обычно молчал или задавал мне вопросы, касающиеся Польши, на кото-

рые я не имел ответов. Потом была Варшава. Мережковский читает ряд архипольских лекций, он принят Пилсудским и пишет о нем хвалебную брошюрку. Это все происходит рядом, но далеко от Философова, который тотчас входит в гущу русской эмиграции. Мережковский, как испорченный ребенок начинает с приближением весны стонать от города. Мне на ум приходит отправить их в деревню к моему шурину Пшевлоцкому, моя сестра Карла ожидала тогда первенца. Мережковские обрадовались, что вот деревня, что соловьи, что сирень... То же предложил и Философову, чтобы он поехал с ними. А он вдруг в резкой форме отказался: “Слишком много я видел в России крови, чтобы сейчас слушать соловьев и на сирень любоваться”. Смотрю, глаза его полны слез, он срывается и выходит.

Должен признаться, что в тот самый момент я и полюбил его, так выделявшегося в среде безличных и малокалиберных эмигрантов. Казалось бы, мелкий штрих, но вижу его таким по сей день, и уже тогда понял я его м а с ш т а б.

*

С этой минуты он стал, собственно говоря, моим руководителем, любимым наперсником. То были его наитруднейшие, отшельнические, до предела насыщенные работой годы. Издание русского журнала, для которого он не раз готовил по три статьи одновременно (*Свобода, потом За свободу*), являлось тогда его главным делом. Его сотрудничество с Савинковым, его отношения с Пилсудским через Савинкова, потом его разрыв с Савинковым, - слишком о многом следовало бы рассказывать. И вместе с тем его неустанная забота о Марие и обо мне. Это он отправил нас в Париж. Снабдил нас парижскими адресами своих ближайших друзей. Каждую неделю присылал нам пакеты с газетами и газетными вырезками. И что важно: особенно боялся, как бы мы не сделались эмигрантами, оборонял нашу польскость: “вы должны быть счастливы, ваша страна свободна!”.

* Читатель решит, что ты это выдумал. (фр.)

*

Хочу закончить свой рассказ об извозчике на Неве с его "мы все помрем" воспоминанием Философова, тяжело ступающего по черным ступеням в свою клетушку на Сенной улице, так вот и слышу на той грязной лестнице его: "тяжелы ступени изгнания". Много лет спустя узнал я, что он цитировал слова Данте, тоже бывшего изгнанником.

Как-то раз - году в 1921 или в 1922 - уже после войны пришли мы к нему вечером. После своего рабочего дня сидел он на узеньком старом топчане. Перед ним на столике лежало стихотворение, которое прислали ему из России тайной почтой. Это стихотворение в каждой строфе кончалось строкой: *Твой брат, Петрополь, умирает*. Не забуду глаза Философова, когда он мне это стихотворение Мандельштама читал.

"Zeszyty Literackie", wiosna 1989, No 26.

Перевели с польского Святослав Свяцкий
и Татьяна Косинова



Юзефа з Тунов Чапска с сыном Юзефом.

КАЛЕНДАРЬ

дат жизни Юзефа Чапского

- 1896 3 апреля Юзеф Чапски родился в Праге, у подножия Градчан, во дворце Тунов. Родители: Ежи Чапски и Юзефа Леопольдина Тун. Детство провел в семейном имении Прилуки над рекой Птыч (приток Припяти), в 16 км к западу от Минска.
- 1903 13 августа — смерть матери



Семья Чапских, Прилуки 1902
С лева: Станислав Чапски *Стась* р. 1898 в Праге, у. 1959 в Буенос Айрес, супруга Верене Ёдко-Наркевич; Юзефа *Южа* с Тунов Ечева Чапска - мать - р. 1867 в Tetschen (Дечин на Лабѣ), у. 1903 в Прилуках; Каролина *Карльа* Чапска Генрикова Пшевлоцка, р. 1891 в Прилуках, у. 1967 в Ласках; Ельжбета (Лила) Чапска, р. 1888 в Прилуках, у. 1972 в Варшаве, по первое Леонова Лубенска, по второе

Александрова Гоффманова, р. 1887 в Прилуках, у. 1969 в Варшаве - вместе с ней Ружа Чапска, Игнатѣва Платер-Зыберкова, р. 1901 в Прилуках, у. 1986 в Кракове, Ежы Чапски - отец - р. 1861 в Станкове, у. 1930 в Мордах, Юзеф Чапски, р. 1896 в Праге, у. 1993 в Maisons-Laffitte, Мария *Марыня* Чапска, р. 1894 в Праге, у. 1981 в Maisons-Laffitte.

1910(?) Осенью едет в Петербург вместе с младшим братом Станиславом и учителем Владиславом Ивановским. Посещает XII гимназию на Фонтанке. Учитсся игре на фортепиано, берет уроки рисования.



Стась и Юзя в гимназии
Санкт-Петербург, 1910-1911

1914

Летом — путешествие в Италию вместе с братом Станиславом и Вл. Ивановским. Поездка в Венецию — в июле 1914 г. 2 августа Германия, а затем Австрия объявляют войну России.



Юзеф Чапски,
Минск перед 1914

Александр Мейендорф и его супруга так называемая бабушка Бабо, с абхасской княжской фамилии Шервашидзе. Мейендорф был племянником балтыжской германской семьи в услужении у Романовых. В 1907 стал депутатом и заступающим Президентом III Государственной Думы. Его отец это стрыечный брат бабушки Юзефа Чапского, Елизабеты Эмериковой Чапской. Петербург 1916.

- 1915 Сдаёт выпускной экзамен в гимназии и поступает в Петербургский университет. Живёт у своего дяди Александра Мейендорфа.
- 1916 Призван в армию в качестве подданного Российской империи. 1 июня начинает учёбу на ускоренных офицерских курсах в Пажеском корпусе.
- 1917 13 февраля заканчивает офицерские курсы. 16 марта, после февральской революции — отречение царя Николая II. В октябре поступает в I Полк Креховецких уланов, формирующийся в имении Дюкора под Минском под командованием генерала Довбора-Мусьницкого. Этот полк входил в состав I Польского корпуса, выделившегося из русской армии. 25 октября — большевистский переворот.



Юзеф Чапский в мундире пропорщика в Мерзове под Оршей, имени Леона Лубенского, депутата в Думу. Март 1917, после абдикации царя Николая II.

- 1918 22 января в Бобруйске под влиянием пацифистских идей уходит из армии вместе с Антонием и Эдвардом Марыльскими. После краткого пребывания в Прилуках все трое выезжают в Петроград. Вскоре к ним присоединяются старшие сестры Чапского, Карла и Мария. Они основывают религиозно-пацифистскую коммуну, духовным предводителем которой становится Антони Марыльский. В конце мая Чапски переезжает вместе с сестрами из Петрограда в Варшаву. Встречается там с Янушем Корчаком. Последний приезд в Прилуки (28 августа — 4 октября). "С огромной печалью покидаю я наш пустой, любимый дом" — пишет он в *Прилуцкой книге*. 16 октября записывается в мастерскую Станислава Лентца в Академии художеств в Варшаве.



Юзеф Чапски в мундире I Полка Креховецких Уланов. Варшава 1919.

В ноябре Чапски объявляет военному руководству о своей готовности служить родине, но без оружия в руках. Получает задание разыскать пропавших без вести польских офицеров из I Полка Креховецких уланов. 14 ноября снова едет в Петроград и примерно через три месяца устанавливает, что польские военнопленные были расстреляны. (22 января 1919 г. возвращается в Варшаву). Во время этого пребывания в Петрограде знакомится с Дм. Мережковским, его женой Зинаидой Гиппиус и Дм. Философовым, которые вводят его в новый круг чтения: Достоевский, Ницше, Розанов... Мережковский помогает Чапскому разрешить тяжелый внутренний конфликт, проистекающий из невозможности объединения его пацифистских идей с потребностью активного участия в происходящих исторических событиях: "Вы не одиноки [...] — отвечает он на сомнения Чапского. — Вы принадлежите истории, мировой истории. Люди сражаются за что-то, [...] они при этом совершают грех, примите же на себя этот грех и вместе с ними боритесь за лучший мир, в котором не будет места для убийства".

- 1919 — 1920 Открывает для себя *Легенду Молодой Польши* и *Дневники* Станислава Бжозовского. С поздней весны 1919 до мая 1920 г. служит рядовым на бронепоезде "Смелый" под командованием братьев Малаговских. С мая 1920 г. сражается в рядах I Полка Креховецких уланов, принимает участие в походе на Киев. Награждается орденом *Virtuti Militari* и получает чин подпоручика. В конце года записывается в Краковскую Академию художеств и начинает занятия живописью в мастерской Войцеха Вейсса. Позже учится у Юзефа Панкевича.

- В 20-е и 30-е годы “семейным очагом” для Марии и Юзефа Чапских становятся дома двух сестер: Карлы (имение Пшевлочких в Мордах) и Польдзи (имение Лубеньских в Казимере Великой)
- 1923 Вместе с коллегами по мастерской Панкевича (Доротой Берлинерблау-Сейденман, Северином Борачеком, Яном Цыбисом, Юзефом Яремой, Артуром Нахтом, Тадеушем Потворовским, Ганной Рудской-Цыбис, Яниной Пшецлавской, Марианом Щирбулой, Зигмунтом Валишевским) Чапски организует группу художников, т.н. “капистов” (от начальных букв названия *“Парижского комитета”*, основанного в связи с планируемым совместным выездом во Францию). В группе главенствуют Ян Цыбис и Зигмунт Валишевски, с которыми Чапского связывает тесная дружба. Начиная с этого года, Чапски и его сестра Мария поддерживают тесный контакт с Дм. Философовым, который в 20 — 30 гг. оказывает на них сильное интеллектуальное и духовное влияние.
- 1924 Летом с группой капистов выезжает в Париж. Как единственный из группы, бегло говорящий по-французски, Чапски принимает на себя организационные дела всей группы и дела своих коллег. Переживает тяжелый период сомнений в собственном таланте; ему удается, однако, воспитать в себе независимое видение мира и собственное, полное внутреннего горения, художественное самосознание. В Париже его сопровождает сестра Мария, занимающаяся в это время исследованиями творчества Мицкевича.
- 1926 Заболевает тифом. После болезни восстанавливает силы в Лондоне у своего дяди, Александра Мейендорфа. Это время знаменуется чтением Пруста и глубоким художественным переживанием у картины Коро *Всадник в лесу* в лондонской Национальной галерее, — “картины, которая открыла для меня суть живописи”.



Мария и Юзеф Чапских. Париж 1929.

- С помощью издателя и писателя Даниеля Галеви художник устанавливает многочисленные связи в парижских интеллектуальных и художественных кругах: Андре Мальро, Франсуа Мориак, Леон Поль Фарг, Дрю де ла Рошель, Морис Закс, Поль Моран, Жюльен Грин... Дружит с Долли Радзивилл, Мисей Гodeбской-Серт, Лили Пастре, в салонах которых встречается с писателями, художниками и музыкантами, группирующимися вокруг русского балета Дягилева: Жаном Кокто, Игорем Стравинским, Морисом Равелем, Николаем Набоковым, Пабло Пикассо... Бывает у Жака Маритена в его имении под Парижем.
- 1930 Принимает участие в выставке капистов в Галерее Зака на площади Сен-Жермен де Пре в Париже. Выставку организует Лили Пастре. В мае и июне Чапски путешествует по Испании; особенно сильное впечатление производят на него полотна Гойи. 25 июля — смерть отца в Мордах, имении Карлы и Генрика Пшевлочких.
- 1931 Весной — выставка капистов в Галерее Моос в Женеве. Большинство капистов после этого возвращается на родину. 1931–32 гг. Чапски проводит во Франции в одиночестве. Дружит с находящимся в это время в Париже Яном Тарновским из Дзиковы. В декабре — выставка капистов в Варшаве, в польском художественном клубе “Polonia”
- 1932 В июле — персональная выставка в Галерее Виньон в Париже. Возвращается на постоянное жительство в Варшаву. Вначале поселяется на ул.Фильтовой 83 кв.9, позже, в конце 30-х гг., — в подваршавском Юзефове. Принимает активное участие в художественной и интеллектуальной жизни столицы. Встречается в неформальном дискуссионном клубе “Домик в Коломне” с группой русских эмигрантов. Там же впервые встречается с Ежи Гедройцем, тогдашним издателем “Бунта молодых”. Пишет картины, выставываясь вместе с коллегами из группы капистов. Тесно связан с Институтом пропаганды искусства (ИПИ) в Варшаве, а также с ежемесячным журналом “Głos Plastyków” и еженедельником “Wiadomości Literackie”.
- 1933 Работает над книгой о В. Розанове (осталась неизданной). Фрагмент этой книги был опубликован в 1958 г. в краковском журнале “Znak”, № 45.
- 1935 Живет в Париже. Работает над книгой о художнике Юзефе Панкевиче. Обращает внимание на выставку немецкого экспрессиониста Макса Бекмана. Во время “прогулок” по Лувру с Панкевичем встречается с молодым стипендиатом из Вильно Чеславом Милошем. Принимает участие в открытии выставки “Салон 35” в Познани.
- 1936 Принимает участие в выставке рисунка в помещении Профессионального Союза Польских Художников в Варшаве. В марте делает доклад *О Сезанне и художественном сознании* в помещении ИПИ в Варшаве. Издательство М.Арцта издает книгу Чапского *“Юзеф Панкевич. Жизнь и творчество. Высказывания об искусстве”*
- 1937 Принимает участие в “Салоне 35” в Познани (получает награду), в Весеннем салоне во дворце искусств во Львове, в Салоне живописи в варшавском ИПИ (награда). Публикует эссе *О Сезанне и художественном сознании* в издательстве ИПИ.
- 1938 В марте–апреле — персональная выставка в ИПИ. Выставка во Львове (совместно со Станиславом Щепаньским и Марией Водзицкой). Участие в выставке “Натюрморт” в Варшаве, в салоне ИПИ; в выставке по случаю открытия Дома Художника в Кракове (награда); в “Салоне 35” в Познани; в польском павильоне Международной выставки искусств в Питтсбурге.

- 1939 Участие в выставке "Натюрморт в польской живописи" в салоне ИПИ в Варшаве.
1 сентября призывается в армию, как офицер запаса, и направляется в Краков, в 8-й Полк уланов.
27 сентября в с. Хмелько на границе львовского воеводства попадает в плен к частям Красной Армии вместе с двумя резервными эскадронами 8-го Полка уланов. Интернирован в Старобельске, на Украине. Находится там с начала октября по 12 мая 1940 г.
- 1940 "В старобельском лагере во время его разгрузки 5 апреля находилось 3920 офицеров и несколько десятков штатских лиц, а также около 30 подхорунжих и хорунжих. Из них удалось спастись только 79-ти. Я — один из них. Все остальные пропали бесследно" (*Воспоминания о Старобельске*). Сравни: статья Наталии Лебедевой *Польские пленные в лагерях НКВД. Дело Юзефа Чапского* в журнале "Zeszyty Literackie" № 50, весна 1995 г.
Покидает Старобельск 12 мая. Оттуда через пересыльный лагерь Павлищев Бор "всех вывезли в Грязовец Вологодской обл., где нас продержали до августа 1941 г." (*Воспоминания о Старобельске*)
3 июля в Марселе умирает Юзеф Панкевич.
5 августа в санатории доктора Зофии Добровольской в Отвоцке умирает Дмитрий Философов.
- 1941 После подписания военного соглашения между советским и польским правительствами Чапского освобождают из лагеря (3 сентября), и он вступает в формирующиеся в Тощке Польские вооруженные силы в СССР. "Сразу же после приезда я получил приказ сформировать Бюро опеки" (*На нечеловеческой земле*). С середины ноября Чапски назначается руководителем бюро по поиску пропавших в России офицеров и солдат при штабе Армии в Бузулуке.



Юзеф Чапский, Автопортрет, Лагерь Павлищев Бор, 1940.

- 1942 Назначается генералом Андерсом уполномоченным по делам "не возвращенных еще пленных", зимние месяцы 1941—42 гг. проводит в поездках в Чкалов и Москву, с трехкратным заездом в Куйбышев (*На нечеловеческой земле*). В Чкалове он представляет запрос о пропавших пленных шефу ГУЛАГа генералу Наседкину.
3 февраля передает на Лубянке меморандум о пропавших пленных генералу Рейхману, непосредственно подчиняющемуся Берии. С марта находится в Янги-Юле под Ташкентом. В апреле назначается шефом армейского Отдела пропаганды и просвещения. В июне встречает в Ташкенте Анну Ахматову и Лидию Чуковскую. Вслед за эвакуирующейся в Ирак армией одним из последних покидает Советский Союз и 3 сентября добирается до Месхеда в Иране. В госпитале в Месхеде начинает писать книгу *На нечеловеческой земле*.



Юзеф Чапски в день принятия руководства отдела Пропаганды и Эдукации Армии, Янги Юль, апрель 1941.

- 1942 — 1943 Вместе с армией Андерса проходит через Ирак, Палестину, Египет — в Италию.
13 апреля 1943 г. немецкое радио сообщает об обнаружении могил в Катыни.
- 1944 В качестве военнослужащего II Корпуса принимает участие в военных действиях в Италии. Исполняет обязанности шефа Отдела пропаганды и культуры (в звании майора). Уходит с этой должности в августе 1944 г.
В Риме в издательстве "Библиотеки Белого Орла" выходят *Воспоминания о Старобельске* — потрясающее свидетельство о пребывании Чапского в советском лагере военнопленных и о безуспешных обращениях к советским властям за разъяснениями о судьбе польских солдат.
5 октября публикует открытое письмо Жаку Маритену (тогдашнему послу генерала Де Голля при Ватикане) и Франсуа Мориаку с протестом против лживого освещения "польского вопроса" в союзнической прессе.
- 1945 С марта руководит представительством Второго Корпуса в Париже. До июля представительство размещается при Посольстве Польши, а позднее — благодаря гостеприимству Стефана Замойского — в Hotel Lambert в Париже. Близкими сотрудниками Чапского в этот период являются племянник Ежи Лубеньски и Мария Аделя Богомолец.
На Рождество в Париж из Польши нелегально приезжает сестра Чапского Мария.

1947

В июне в Риме выходит первый номер ежемесячника "Культура". Чапски помещает в нем очерк, посвященный памяти Пьера Боннара (ум.23. I. 1947): "Я ощущал мир Боннара настолько близким всей той эпохе, в которой я жил, погруженный в живопись, что всю эту статью назвал *Потерянный рай*, потому что сам еще не понимал, как можно вернуться в этот мир, и удастся ли мне это". Заканчивает книгу *На нечеловеческой земле*. С осени живет вместе с сестрой Марией и приехавшим из Италии коллективом журнала "Культура" (Ежи Гедройц, Зофия и Зигмунт Гертцы) в Мезон-Лаффит под Парижем, в доме на авеню Корнеля.



Юзеф Чапски и генерал Владислав Андерс перед зданием польской Амбассады, Париж 1945.

1948

В марте — демобилизуется в Кале. Знакомится с 21-летним художником Жаном Коленом, с которым будет находиться в близких отношениях вплоть до его безвременной смерти на 32-м году жизни. Понемногу, после перерыва в несколько лет, утратив во время войны большинство своих полотен, Чапски начинает снова рисовать. Он окончательно отходит от капиистской колористической концепции живописи. Новое, драматическое видение сближает его в какой-то степени с экспрессионизмом. С течением времени его живопись приобретает оригинальность и выразительность рисунка; его манера основывается на резком, моментальном видении кусочка мира, людских лиц, предметов. Чапски оперирует выразительным контуром, резкими сопоставлениями контрастных цветов. В то же время он создает натюрморты, для которых характерна сосредоточенность, спокойный и изысканный колорит. Около 1980 г. оба этих художественных "метода" синтезируются в пейзажах, выполненных спокойными, широкими цветовыми пятнами. Публикует статьи, очерки, фрагменты дневника, главным образом в "Культуре".

1949

Завязывает новые знакомства: с Жанной Герш, Филиппом Арье, Е.М.Циораном, Мишель де Гельдероде, Манес Спекер, Мери Мак-Карти...

1950

Литературный институт в Париже издает книгу *На нечеловеческой земле* на польском языке. В издательстве "Plon" выходит французская версия этой книги в переводе Марии Адели Богомолец и автора, с предисловием Даниеля Галеви.

1951

Путешествие в Америку с серией докладов — "сбор пожертвований" в пользу издательства "Культура". В июне вместе с Ежи Гедройцем участвует во встрече, положившей начало Конгрессу Свободной Культуры в Берлине.

После разрыва с правительством ПНР Чеслав Милош поселяется в доме "Культуры". Впоследствии он напишет: "От Чапского я впервые получил книгу Симоны Вейль (*Вес и грация*). Первую ее книгу [...] С ним я мог разговаривать по-настоящему" (*Год охотника*). В ноябре—декабре первая послевоенная персональная выставка художника в галерее Мотт в Женеве. Текст для каталога написал Даниель Галеви.



Юзеф Чапски с портретом Ельжбеты Лубенской. Maisons-Laffitte 1958.

- 1952 В ноябре — индивидуальная выставка в Париже, в галерее Бенезит, и в галерее Грабовского в Лондоне. Осенью из Рима в Париж переезжает Константы А. Еленьски, который до самой смерти в 1987 г. остается одним из ближайших друзей Чапского.
- 1954 Вместе с сестрой Марией и всем коллективом “Культуры” перебирается в дом на авеню Пуасси в Maisons-Laffitte, в котором проживет до конца своей жизни.
Выставка в галерее Грабовского в Лондоне.
Мария Чапска публикует книгу *Милосердие, соразмерное поражениям* (издательство “Veritas”, Лондон) — о приюте св. Казимира в Париже, с рисунками Юзефа Чапского.
Выставка в галерее Бенезит в Париже.
- 1955 В марте — выставка во Дворце Изыщных Искусств (Palais des Beaux-Arts) в Брюсселе.
В мае Чапски отправляется в трехмесячное путешествие по Южной Америке. В Буэнос-Айресе он навещает брата Станислава. Встречается с Витольдом Гомбровичем.
Выставка в Рио де Жанейро.
- 1956 Выставка в Амьене вместе с Жаном Коленом.
Выставка в галерее Грабовского в Лондоне.
- 1957 Выставка в Национальном музее в Познани и в Кракове.
- 1959 27 июня в Амьене умирает Жан Колен.
- 1960 В Литературном институте выходит книга Чапского *Око* — сборник эссе об искусстве. В июньском номере ежемесячника “Znak” (№72) Чапски впервые печатает обширные выдержки из *Дневника* Жана Колена в переводе Марии Морстин-Гурской. Первое французское издание отрывков из *Дневников* Жана Колена появляется только год спустя (Librairie de Marignon, Париж, 1961).
Выставка в галерее Грабовского в Лондоне.
- 1961 Выставка в галерее Сагитариус в Нью-Йорке и в галерее Бенезит в Париже.
- 1962 4 февраля в Париже умирает Даниель Галеви.
Выставка в Торонто.
- 1964 Выставка в галерее Грабовского в Лондоне и в галерее Бенезит в Париже.
В издательстве Gallimard выходит сборник писем В. Розанова с большим предисловием Чапского.
- 1965 Мария и Юзеф Чапские публикуют книгу *Двойной голос воспоминаний* в издательстве “Польский фонд культуры” в Лондоне.
Встреча с Анной Ахматовой в Париже.
Награда американского фонда им.А.Южиковского.
- 1966 В № 1-2 журнала “Культура” впервые публикуются *Вырванные страницы* — фрагменты дневника, который Чапски вел со времен интернирования в Старобельске. Дневники, написанные до 1939 г., пропали.
Выставка в галерее Дебриер в Париже. Выставка в галерее Мотт в Женеве.
- 1967 В немецком издательстве “Kierlenheuer und Witsch” публикуется перевод книги *На нечеловеческой земле* дополненной шестью новыми разделами.
Выставка в галерее Дебриер в Париже.
- 1968 Выставка в галерее Грабовского в Лондоне.
- 1969 В издательстве “Польский фонд культуры” в Лондоне выходит расширенное издание книги *На нечеловеческой земле*.
- 1970 Выставка в галерее Грабовского в Лондоне и в галерее Дебриер в Париже.
Мария Чапска публикует хронику семьи Чапских: *Европа в семье* (издательство Libella, Париж).
В 70 – 80-е гг. Чапски проводит летние каникулы в городке Saily, в маленькой гостинице, которой управляет Антонина Немойовска. Пишет там многочисленные пейзажи.

- 1971 Ретроспективная выставка в галерее Мотт в Женеве.
- 1972 Литературная премия фонда им.Годлевских в Цюрихе.
Выставка в галерее Мотт в Женеве.
- 1974 В лозаннском издательстве "L'Age d'Homme" выходит богато иллюстрированная монография о Чапском (автор — Мюриель Вернер—Ганебэн): *Чапски — рука и пространство*.
Выставка в галерее Ламбер в Париже и в галерее Грабовского в Лондоне.
15 ноября вместе с Ежи Гедройцем встречается в Цюрихе с Александром Солженицыным.
- 1975 Выставка в галерее Галакси в Париже.
- 1976 Первая из многочисленных персональных выставок (до 1990 года — 10) в галерее "Плексус" Б. и Р. Эшлиманов в местечке Chabres под Лозанной.
- 1977 Выставка в галерее "Дедал" в Женеве. Выставка в галерее Галакси в Париже.
- 1978 Выставка в галерее Брианс в Париже.
- 1979 В польском самиздате (издательство NOWA) выходят *Воспоминания о Старобельске*.
- 1981 10 июня в Maisons-Laffitte умирает Мария Чапска.
Литературный институт в Париже издает том очерков Чапского *Суматоха и привидения*.
Выставка в галерее Брианс в Париже.
- 1982 Лозаннское издательство "L'Age d'Homme" издает книгу Чапского *Око. Эссе о живописи* в переводе Юлии Юрьсы и Либы Хаубен.
- 1983 В польском издательстве "Znak" выходит с цензурными сокращениями сборник эссе Чапского *Глядя...* в выборе и с предисловием Иоанны Поллак.
- 1985 Чапски участвует (10 картинами) в Парижском Биеннале. Торжественно празднуется 90-летие Чапского у паллатинов в Париже. Выступают: Густав Херлинг-Грудзиньски, Константы А. Еленьски и Войцех Карпиньски. Их поздравления опубликованы в апрельском номере "Культуры".
- 1986 В краковском самиздате (издательство "Oficyna Literacka") выходит книга *Юзеф Чапски. Дневники, воспоминания, сообщения*.
Выставка в Архиепископальном музее в Варшаве.
Издательство "Анекс" в Лондоне издает том стихотворений Адама Загаевского *Поехать во Львов*, иллюстрированный страницами из дневника Чапского.
- 1987 4 мая в американской больнице в Neuilly умирает К.А. Еленьски. В издательстве "Noir sur Blanc" выходят на французском языке книги Чапского *Пруст против вырождения* и *Воспоминания о Старобельске*, иллюстрированные страницами из дневника старобельского периода. В журнале "Zeszyty Literackie" № 21, 1988, посвященном памяти К.А. Еленьского, публикуются воспоминания о нем Чапского *Мгновенная щедрость*.
- 1990 В варшавском издательстве "Czytelnik" выходит первое официальное издание книги *На нечеловеческой земле*.
Выставка в Архиепископальном музее в Варшаве. Выставка в галерее BWA в Новом Сонче (Польша).
Выставка в галерее Кордегардия в Варшаве.
Большая ретроспективная выставка в музее Jenisch в Вевей в Швейцарии; по случаю этой выставки издан обширный каталог с примерно шестьюдесятью репродукциями картин Чапского.
В издательстве "Znak" (Краков) выходит том эссе и набросков Чапского *Читая...* в выборе и обработке Яна Зелинского.
- 1991 В издательстве "Noir sur Blanc" выходит перевод на французский язык *Суматохи и привидений* (переводчик — Тереза Дзедушица).
Выставка "Дневник Юзефа Чапского" в Национальном музее в Познани.



Интерьер комнаты Юзефа Чапского.
Maison-Laffitte, 1987.

- 1992 Выставка "Юзеф Чапски. Живопись из швейцарских собраний" в Национальном музее в Кракове, позже показанная также в Познани и Варшаве. Выдвижение на звание почетного профессора Академии художеств в Кракове.
14 октября специальный посланник президента Бориса Ельцина передает президенту Леху Валенсе документ от 5.03.1940 г., содержащий решение о расстреле польских военнопленных в Катыни, подписанный Сталиным, Ворошиловым, Молотовым и Микояном.
- 1993 12 января на 97-м году жизни Чапски умирает в Maisons-Laffitte. 15 января — похороны на кладбище в Мениль-ле-Рюа вблизи Мезон-Лаффит, рядом с сестрой Марией.
Издательство "Noir sur Blanc" публикует *Вывранные страницы* в выборе и обработке Иоанны Поллак и Петра Клочовского. Выходят два номера журнала "Zeszyty Literackie" (№ 44, 1993, и № 45, 1994 г.), посвященные памяти Чапского. Иоанна Поллак выпускает в издательстве "Krupski i S-ka." альбом *Чапски*.
- 1994 — 1995 Семья Чапских дарит Национальному музею в Кракове памятные предметы Юзефа Чапского, оставшиеся в Мезон-Лаффит. При музейном фонде "Monumentis Patriae" создается Фонд Чапских.
- 1996 В издательстве "Znak" выходит полное, без цензурных изъятий издание книги *Глядя...* в обработке Иоанны Поллак. В издательстве "Wydawnictwo Dolnośląskie" выходит книга *Портрет Чапского* (автор — Войцех Карпиньски)

Материал подготовлен Иоанной Поллак и Петром Клочовским.
Перевод Анатолия Нехая